

Александр Грин

Тайна дома 41



Александр Грин

Тайна дома 41

«Public Domain»

1916

Грин А. С.

Тайна дома 41 / А. С. Грин — «Public Domain», 1916

«Велик город Петроград, господа, и много творится в нем диковинных и непонятных вещей. Часть из них становится, рано или поздно достоянием полиции, получая, так сказать, разъяснение и свое место в этом мире; но до многого и полиция не доберется. Только мы, люди пишущие, искушенные опытом и гуляющие по улице без формы, можем иногда безвредно для обывателей, проникнуть в секретные дела многочисленных петроградских семейств и вывести оттуда на свет божий и страшное и поучительное...»

Содержание

I. Краткое вступление. Шкипер Мустаняйнен и Григорий Хибаж	5
II. № 41. Марья Лукьяновна и Мустаняйнен за ангела	7
III. Хибаж кинулся в пространство	9
IV. О Балмушах, политуре и других гадостях	11
V. Жалобы Ариадны	13
VI. Таинственные явления	15
VII. Раскрытие тайн	17

Александр Грин

Тайна дома 41

(Петроградский рассказ)

І. Краткое вступление. Шкипер Мустаняйнен и Григорий Хибаж

Велик город Петроград, господа, и много творится в нем диковинных и непонятных вещей. Часть из них становится, рано или поздно достоянием полиции, получая, так сказать, разъяснение и свое место в этом мире; но до многого и полиция не доберется. Только мы, люди пишущие, искушенные опытом и гуляющие по улице без формы, можем иногда безвредно для обывателей, проникнуть в секретные дела многочисленных петроградских семейств и вывести оттуда на свет божий и страшное и поучительное.

Рано утром, против 10-й линии Васильевского острова у парохода «Юкола», только что прибывшего из Гельсингфорса с дорогим, по нашему времени, грузом, – бумаги для издательства «Скальпированный футурист», стоял добренький, старенький шкипер Мустаняйнен. Он стоял на солнечной набережной, сдвинув несколько на затылок блинообразную кожаную фуражку, курил трубочку-носогрейку и все его румяное, обрамленное седой щетиной лицо выражало чрезвычайное благодушие. За скорость он получил с издательства хороший куртаж, вчера выпил шесть бутылочек «калия», разбавив пиво для крепости сахарным песком, и выиграл в карты у боцмана Кананяйнена полторы марки. Утро занялось тихое и теплое. Мустаняйнен курил и пел:

Ветер бил, и я не пуст,
Когда плыл я в Таваст густ,
Ветер бил и лайба плыл,
И я очень рада бил.

Набережная представляла обычную картину неторопливого уличного движения; катились подводы с бочками, трусили извозчики, пешеходы, с опасностью для жизни, устремлялись наперерез трамваю, на углу дремал газетчик. Посмотрев в сторону Николаевского моста, шкипер увидел человека, который являл собой странную и значительную, по военному времени, картину, буйно размахивая руками, мотая головой, шел он, шатаясь, как под градом ударов, в определенном, но в то же время и в неопределенном направлении ходом коня, постепенно приближаясь к Мустаняйнену, смотревшему на него с чувством благоговейной зависти. «Перкеле!» – сказал шкипер, вспоминая старые времена, когда по снежной финской дорожке летел он, пьяный как дым, на сытой лошадке, и рвал вожжи, и пел сколько хотелось.

В силу этих воспоминаний Мустаняйнен проникся симпатией к неизвестному, издали рассматривая счастливец зоркими морщинистыми глазами. «Счастливец» был в поношенной чиновничьей форме, невысок, сутуловат и небрит, а физиономией напоминал бабу, которой приклеили бачки и щетинистые усы. Было ему лет сорок – сорок пять. Подойдя к Мустаняйнену, чиновник утвердил расплзающиеся ноги на мостовой, сделал рукой неопределенное заверение в неких невраждебных, однако, чувствах и спросил:

- Друг мой!.. Брат мой! Несчастный!.. Страдающий брат!..
- Ити постелька домой! – ласково сказал Мустаняйнен.

– Постелька! – презрительно сказал чиновник, насупившись. – Эх ты... Свердруп маринованный! По-лу-ев-ро-па! А я, братец мой, жалование пропиваю, и пропитой сей нисколько, понимаешь, не жалко. Зачем двадцатое? Почему двадцатое? Число звериное! Я благ-а-родный человек, вейка! Хочешь выпить?

– Пирга нет, – недоверчиво сказал Мустаняйнен, косясь на неоттопыренные борты чиновничьего пиджака.

Но чиновник погрузился в раздумье. Похмельная борьба терзала его. С одной стороны – давали себя чувствовать угрызения совести; пропил жалованье, семья ждет и тому подобное; с другой – острое возбуждение двух суток требовало продолжения, то есть опять напиться и, шатаясь по городу, попадая из одного места в другое, жить фантастикой пьяных нелепостей. Запустив руку в задний карман брюк, вытащил он зажатые меж скрюченных пальцев – одну красненькую и две трешки, из складок которых, подобно бабочкам, запорхали синие и желтые марки.

– Хибаж, – сказал чиновник, тупо смотря на запестревшую мостовую, – Григорий Аванантович Хибаж. Это я. Видишь, тут есть еще на... на... п... политуру! Выпьем?!

– Нисего, – сказал Мустаняйнен, аккуратно поднимая марки и вручая их стоявшему под углом Пизанской башни Хибажу, – берите лосадка: ридцать копеек, и я вас домой провожу.

Будь Хибаж менее пьян, Мустаняйнен не отказался бы, разумеется, от дарового угощения. Однако чиновник мог дико заорать на Невском или выкинуть что-нибудь вообще, косвенное полиции. Поэтому, настроившись сострадательно к Хибажу, шкипер, благо день был свободный, решил доставить Хибажа домой.

– А те сивете? – спросил он, махая рукой порожнему извозчику, свернувшему, благодаря таксе, не совсем охотно, но почин дороже денег. Раскаяние взяло верх. Спрятав деньги, Хибаж, смазав себя пальцами по лицу, чем как бы стряхивал прошлое, довольно внятно объяснил адрес. Он жил в собственном деревянном домике, в глухом углу Гавани; номер дома был 41. Хибаж и Мустаняйнен уселись.

Известно, что такое пьяный разговор и каково его слушать трезвому. Мустаняйнен терпеливо курил трубку и завистливо, льстиво улыбался, слушая перечисление фунтов политуры, бутылок спирта и вина, о которых Хибаж рассказывал ему безо всякого злого умысла, терзая сердце Мустаняйнена неутомимой алчбой. Подробно описывал он все встречи, разговоры, обиды и услаждения. Завидев на Большом проспекте знакомую кофейню, которую держал Симаняйнен, шкипер вспомнил, что нужно завернуть к земляку и сообщить ему о скоропостижной и неблагочестивой смерти Ивайнена, деверя хозяина заведения.

Сделав соответствующее заявление Хибажу, Мустаняйнен воскликнул: «Исивосцик, ти стой немноско!» – и развалистой походкой моряка скрылся в кофейне. Немного он пробыл там, – минут десять, пятнадцать, – но когда вышел, увидел, к своему удивлению, пустую пролетку. Хибаж исчез. «Исивосцик! – закричал шкипер. – А те сетевал каспадин? Сорт!» Извозчик посмотрел через плечо на пустое сиденье, дерзко пожал ватными плечами и буркнул:

– Сам черт! Я не караулить его поставлен. Сбежал, надуть, как полагается!

Куда ни смотрел шкипер, – нигде не было видно Хибажа.

II. № 41. Марья Лукьяновна и Мустаняйнен за ангела

Скажем откровенно, тайная надежда заполучить в конце концов огненный стакан спирта не покидала шкипера до этой минуты. Близкое соседство нагруженного напитками человека смущало шкипера, заставив его даже пожалеть, что он везет Хибажа домой, а не в другое, более теплое место. Хибаж исчез, Мустаняйнен безнадежно развел руками.

Однако, предусмотрительно заставив чиновника заплатить извозчику вперед, шкипер считал своим долгом попасть в дом 41 и оповестить семейство, если таковое окажется, о неудачной опеке над Григорием Авенантовичем. «Посол!» – сказал он, куколкой усаживаясь в пролетку.

Через полчаса лошадь остановилась перед желтым одноэтажным домиком, с крошечным мезонином и узкой калиткой, Мустаняйнен дернул ручку проволочного звонка. Было слышно, как со всех ног бросились отпирать, и на пороге стремительно появилась еще молодая, довольно миловидная женщина, простоволосая, в затрапезном платье, с тряпкой в руках; сбоку по косякам двери мгновенно прилипли, как часовые, два шустрых, босоногих мальчика. Все трое выстрелили глазами в шкипера, и на лицо женщины, согнав краску оживления, легла тень горькой усталости.

– Что скажете? – спросила она.

– Эт-та... сивет каспадин Хибаж? – заговорил шкипер и, получив утвердительный вздох-кивок, продолжал, широко улыбаясь: – Я бил резвый, а он посол водку пить. Я сказал каспадин, идти спать. Я возил, я посол копейня, немного ходил, приходил улица, – каспадин земля ровалился (В землю провалился). Риехал вам.

– Ах, ах, погубитель, злодей! – закричала Марья Лукьяновна. – Так вы тоже с ним путались?! Стыдно, господин старичок! У меня дети, быюсь, как рыба об лед. Пьяница мой, почитай, каждое двадцатое половину, а то и больше, пропьет! Эх вы! Пожалели бы вы бедных людей!

Она громко заплакала. Разговор происходил в крошечной, полутемной передней. Мустаняйнен растерялся. Кое-как втолковал он наконец Марье Лукьяновне, что, встретив пьяного Хибажа, пожелал избавить его от сторублевого штрафа за появление в пьяном виде, – но что тот скрылся. Марья Лукьяновна, слушая, утирала слезы и наконец утерла их совсем, в то время как два отпрыска рода Хибажей, награждая друг друга шипками, мстительно шептались о чем-то. Заревев, оба убежали.

– Ради бога, сделайте милость, – взмолилась женщина, – разыщите вы мне моего Гришу. Вы его видели, знаете, а он, наверное, к «Повилику» пошел, на биллиардах проклятых последние гроши заколачивать. Мне – женщина я – нельзя по трактирам ходить, неудобно. Сделайте милость. Скажите, что я слезами вся изошла. Ей-богу, не сплю. Я вам и денег на извозчика дам. Поверите ли, до того дошло, что мезонинчик наш субъекту какому-то сдала, одноштаннику; все хоть пятнадцать рублей в месяц на хлеб. Вон он запел, басистый!

Сквозь ветхий потолок действительно раздавалось глухое, ворчливое пенье и явственно разбиралось:

«Воскресни ж, Озирис, явися к нам вновь
В сердцах наших править и мир и любовь!»

– Второй день живет, все про мир да любовь поет, – продолжала женщина, – а денег только пять целковых уплатил, остальные, говорит, из Самары телеграфом вышлют. Ах, господин... уж согласитесь доброе дело с концом сделать! Представьте разбойника!

Отчасти плененный некоторыми прелестями Марьи Лукьяновны, отчасти вновь восплаив тайной надеждой, в связи с приключением, где-то как-то заполучить наконец оседлавший воображение огненный стакан «пирта», Мустаняйнен, потоптавшись, сказал:

– Та. Се телано, а вы, мамуска, не упиваетесь. Я поехала.

Взяв рубль мелочи, выслушав пылкие благодарности и благословения, Мустаняйнен вышел на улицу, направляясь к трамваю. Адрес «Повилика» Марья Лукьяновна записала ему на бумажке.

Случайно подняв взгляд, шкипер увидел в открытом окне мезонинчика скуластое, курносое, большеротое, с ввалившимися глазами, лицо взлохмаченного, длинноволосого брюнета; субъект этот, нахмурившись, смотрел на финна тоскливым пронзительным взглядом.

– Какой сусело (чучело), – вполголоса пробормотал шкипер, сворачивая за угол.

III. Хибаж кинулся в пространство

Должно быть, за двадцать лет жизни с мужем Марья Лукьяновна хорошо изучила привычки своего повелителя, так как Хибаж действительно отправился в «Повилик». Произошло это так.

Сидя на извозчике в ожидании Мустаяйнена, Хибаж заметил, что правая его нога свесилась с пролетки и, находясь без точки опоры, то выпрямляется, то сгибается. Такая необеспеченность ноги перевела мысли Хибаж на все свое развинченное запутанное положение, неизбежную встречу с женой, растрату жалования, выговор по службе и покаянное, на целую неделю, настроение. Слабые натуры охотнее бросаются назад, в тину порока, чем вперед, к мужественной расплате за совершенное – единственно из трусости, а не из молодечества. Оттянуть страшный момент объяснений и покаянной тоски, хотя бы ценой новых проступков, – было единственным желанием Хибаж, когда, вспомнив пропитые восемьдесят рублей решил он, с легкомыслием негра, пытающегося потереться носом с собственным отражением в зеркале – выиграть эти восемьдесят рублей на бильярде, – игра, которую он знал достаточно плохо для того, чтобы быть всегда в проигрыше.

Зная, что пьяного, по крайней мере – наружно, его в ресторан не пустят, Хибаж, послав Мустаяйнена мысленно в самые глубины Финляндии, осторожно вылез из пролетки и с проворством, какого трудно было ожидать от пожилого грузного человека, шмыгнув за угол, нанял нового ваньку, которому повелел ехать в баню. Там он посидел минут десять в холодной ванне, выпил шесть полбутылок содовой и, совершенно перестав шататься, но с красными глазами, и, по существу, пьяный, как кот, нализавшийся валерьяновых капель, поехал в ресторан «Повилик», вспоминая добродушного шкипера с жестокостью лошадиной щетки. Он был возбужден до крайности и мысленно швырял казенные дела в голову трезвых прохожих.

«Повилик»! Кто из петроградцев не знает этого желтого двухэтажного зданья, приютившегося с незапамятных времен в центре города?! Когда-то здесь сиживали Некрасов и Белинский, Достоевский и Герцен. Буйная жизнь 20-го века похитила его лавры, поместив их в суповых судках ресторанной периферии во всевозможных «Шато», «Ярах», и «Москвах», и «Белградах». Но еще до войны, утром и после четырех дня, можно было видеть у стойки плотную массу вспотевших от жевания, затылков, кокард и форменных петлиц служащих всевозможных ведомств, утолявших до- и послеслужебный аппетит горячими готовыми закусками. И пирожками, и рюмками, и кружками пива. Все это, выпитое когда-то, образовало бы теперь новую Лету, реку забвения, в которой без труда погибла бы память десяти поколений. Теперь «Повилик» дорог, невкусен и избегаем. Знаменитые пирожки ссохлись до величины американского ореха. Однако, внизу, в бильiardной, как раньше, так и теперь, жизнь всецело подчинена законам столкновения упругих тел и тому набившему оскомину правилу, что «угол падения равен углу отражения».

По широкому тротуару, отрезавшему мир от подвальных окошек бильiardной, переливается, сверкая всеми оттенками жизни, толпа наших дней: идут когорты бледных, гулящих, с сестрицей сбоку, постукивающих костылями раненых; звенят шпоры; кружечники, высматривая лицо подорожника, держат наготове значок, газетчики суют товар, не смотря в лицо покупателю, – сами желают знать – как под Верденем; а в тесных двух комнатах со сводчатым потолком и каторжным воздухом сорок – пятьдесят человек фанатически катают шары, волнуясь, раздражаясь и радуясь, как дети, если «с выходом под пятнадцатого» десятка летит под лузу. Однако подробно описывать нравы и постоянных посетителей (а это очень любопытный сюжет) мы здесь не будем, из уважения к Хибажу, спускающемуся в этот момент по крутой железной лестнице вниз.

Хибаж, на его несчастье, сразу увидел свободный бильярд, на котором, по плохости его, настоящие игроки упражнялись не очень охотно. Не успел Хибаж остановиться у бильярда, как, по томительному выражению лица, трое профессионалов сразу учуяли «пижона», воспылавшего несбыточной надеждой выиграть в «Повилике». Хибаж часто ходил сюда, вечно проигрывал и всегда объяснял это чистой случайностью.

– Сыграем партийку! – сказал, потирая руки, сладенько улыбаясь и кривя набок голову, маленький прилизанный человечек, напоминающий мышь в сюртуке.

Сзади его, тоже «готовые к услугам», стояли двое: ловкий бритый человек с пустыми быстрыми глазами и выражением лица, как бы говорящим: «А мне все равно». Этот, играя левой рукой, был лучшим игроком в «Повилике»: третий, неуклюжий, развинченный молодой студент, готовившийся в «чемпионы» и игравший тоже неплохо, сильнее всех рвался к Хибажу, обещая самую приличную «фору».

Хибаж остановился на левше. Здесь он мог получить тридцать очков вперед и выиграть «фуксом». Левша действительно, поторговавшись, дал, с видом жертвы, Хибажу тридцать очков и, условившись играть по пяти рублей партию, принялся за работу. Изящно поджимая губы, пошучивая и как бы шая, повел он Хибажа на прочной веревочке различных «ловушек», суть которых состояла в том, чтобы партнер, играя какого-нибудь шара, не сыграл его, а левше подставлял бы в разных местах бильярда удобно и ловко играемые шары.

Хибаж буйно двигал кием, промахивался и плевался и на глазах толпы хихикающих зрителей проигрывал партию за партией. Он пробовал вырваться из цепких рук игрока, пробовал вести игру «на отыгрыш», «накатывать», «кидаться», но ничего не помогало. Левша играл, как коваль: шар за шаром летел от бойкого его кия в лузу, и не успевал Хибаж сделать 40–50 очков, как у артиста было 70 с хвостиком. Злоба, досада и усталость возвели похмельное состояние чиновника в степень адской пытки, и оставшиеся у него теперь восемь – десять рублей охотно отдал бы он за сотку спирта.

Вдруг кто-то легонько хлопнул его по плечу, он обернулся и увидел сияющее лицо Муста-найнена, старик радовался, что нашел своего случайного знакомого.

IV. О Балмушах, политуре и других гадостях

Прежде чем рассказать о действительно страшных явлениях, перевернувших всю жизнь Хибажу, мы должны вместе с героем посетить одно место – место злачное. Нам нельзя обойти его. Целый год место это срасталось с Хибажем; показав место, мы тем самым покажем, от чего спасся Хибаж. Рассказ наш не веселый по существу, нет.

– Вейка! – удивился Хибаж, тоже немного радуясь, что хоть нечто похожее на товарища здесь с ним. – Как это вы меня нашли, позвольте узнать?

Мустаняйнен, таинственно улыбаясь, шептал:

– Вася сена росила риехать, осень плакает.

– Ах, так?! – Хибаж рассеянно смотрел, как левша, сколачивая шар за шаром, оканчивал партию.

Страх напал на чиновника. Он ведь проиграл еще двадцать рублей, почти все. «Вернусь пьяный как дым, легче брань снести, – подумал Хибаж, – а на жизнь возьму жалованье вперед». Просветлев, бросил он кий, уплатил проигрыш, взял покорно лукаво улыбающегося Мустаняйна за рукав, вышел на Невский и сказал извозчику такой сложный адрес из двух улиц и номеров, что извозчик, почесав за ухом, не сразу, но догадался:

– Это в Балмуши, што ль?

– В они самые.

– Опять вотка пить? – сказал вслух укоризненно Мустаняйнен в то время как болтавшаяся между добродетелью и спиртом душа его утвердительно повторила: «Та, опять».

– Я тебя угощаю, – мрачно сказал Хибаж шкиперу. – Ты меня не оставишь?

– Мой – никокта! – кротко ворчнул старик, и глазки его замаслились.

«Балмуши» – красный кирпичный дом, грязный и мрачный, с извилистым проходным двором, помещается поперек двух захолустных рабочих улиц. Каменные ворота аркой с одной улицы вечно животрепещут разнокалиберным, входящим и выходящим народом, картуз, косо-воротка, сборные голенища и пирамидальная шапка татарина-старьевщика постоянно мелькают здесь, редко разнообразясь скошенными набок галстуком и «монополем», с трудом застегнутыми красными мозолистыми руками. Внутри двора сушилось белье и мрачно, придерживаясь за стенку, сосредоточенно передвигались «ханжисты».

Когда Хибаж и Мустаняйнен подъехали к «Балмушам», у ворот, грызя семечки, стояло человек шесть парней; два татарина с пустыми мешками и несколько зоркоглазых, окладисто-бородатых типов картузной складки. Из этой толпы вышли двое; один таинственно зашептал Хибажу:

– Спиртику? А то, может, английской горькой?

– А почему? – хмуро спросил Хибаж, зная, что все равно денег не хватит.

– Горькая – тринадцать, господин.

– А спирт?

– Этот шестнадцать.

– Да, поди, «балованный»?

– Упаси господи! Никогда водой не разводил. Может, какие другие «балуют», а мы нет!

– Четырнадцать, полбутылки беру, – сказал Хибаж. Бородач хладнокровно сплюнул и вышел из ворот на улицу. Второй тип предложил то же самое и по той же цене.

– Идем! – сказал Хибаж шкиперу. – Я знаю тут «такую» квартиру.

На одной из площадок грязной, полутемной лестницы Хибаж, не звоня, так как входы в этом доме почти никогда не запирались, потянул затхлую дверь, и компаньоны оказались в крошечной квартире полурбочего, полумещанского типа. Ситцевый полог, пестрое лоскут-

ное одеяло, иконы с бумажными цветами, табуреты, самовар и на желтом полу – дорожка – все отдавало семейственностью.

Появление старухи цыганского типа, утвердительно закивавшей, бормоча: «Есть, есть!» – оживило шкипера и буквально ошастливило чиновника, трясшегося, как в лихорадке.

– Почему?

– Да уж для вас, барин, берегла. «Баловенева» в ем и курице не испить. Четырнадцать бумаг кладите – и ваша.

– Слушай, Боковица, – сказал Хибаж, – полбутылки дашь?

– Отолью способно.

– И фунт политуры, это в кредит. Идет? Некуда идти, Боковица.

– Ну, ну, отвернитесь!

Приятели, смекнув, что баба не хочет показывать, откуда вынет драгоценные соки, уставились в окно.

– Теловой папуска! – сказал, глотая слюну, Мустаняйнен.

Сзади их зазвякало стекло. Оба повернулись, как на шарнире. В одной руке Боковица держала белую пол-бутылку, в другой – темно-зеленую с политурой. Закуску подала она обычную в «Балмушах»: щепоть клюквы на грязном блюдечке и соль. Хибаж попробовал спирт и обжег горло. Волнуясь, то проливая, то недоливая, разводил он в стаканах водой спирт. Дал Мустаняйнену и выпил блаженно сам. Дух его поднялся. Мустаняйнен выпил, как вздохнул, и, смакуя момент, даже зажмурился.

Пока они, теперь уже не торопясь, выпивали, разговаривая с азартом все о том же, то есть где, и как, и за сколько изловчиться добыть напиток, причем Хибаж не уставал делать трагические отступления в сторону символа жизни и высоких материй, Боковица, на их глазах и с помощью вошедшей дочери, молодой, иконописного типа женщины с пустыми темными глазами и загаром во всю щеку, «очищала» густую желтую политуру, сильно вонявшую крепким смолистым запахом. Бутылку с политурой женщины, подсыпав в нее соли и разведя водой, долго трясли на коленях, отчего «шерлак» свернулся по стенкам бутылки в виде лохматого маслянистого студня, а спирт, отдельно от него, принял вид мутной, как сыворотка, жидкости. Три раза пропускали его сквозь вату, в результате чего получилась противно-соленая, с смолистым запахом и привкусом жидкость; она, несмотря на очистку, преисправно склеивала пальцы и просилась «в Ригу».

Мустаняйнен рассчитывал, выпив сам и дав опохмелиться Хибажу, доставить чиновника домой, но, после политуры и спирта, все изменилось перед его глазами, хотелось «кулять». У него было с собой около полсотни рублей, и показались они ему, обыкновенно скупому, такими маленькими, не нужными ни на что, кроме «тевоська» и «пирта», и он был уже пьян.

Хибаж твердил:

– Я чиновник, но у меня есть душа! Безумно скорбит она!.. Вижу бессилие свое и трепещу!.. Доколе, о господи? Где-то есть... Испания... меморандум... глетчеры... а я?! Какая ж это жизнь?

Мустаняйнен же, пытаясь петь по-русски, выводил заунывно одну-единственную памятную строку:

– «А-во поле пыль, стоял...» – И нараспев тем же мотивом заканчивал: – А-а, тут мой песенка – и сконсялся.

V. Жалобы Ариадны

Оставим их... Наступил вечер. Марья Лукьяновна в бессильной тоске о загулявшем муже своем изныла. Было около десяти часов. Мальчики спали. Марья Лукьяновна сидела у раскрытого окна и плакала. Наверху, в мезонинчике, окно было тоже открыто. По комнате, совершенно пустой, если не считать скудной мебели и жильцовского сундука, шагал из угла в угол описанный нами выше волосатый мужчина в грязном светлом костюме, оживленном огромным радужно-ярким галстуком. Задерживаясь у окна, он каждый раз слышал монотонный вздыхающий плач и энергично плевался. Если бы читатель знал, чем был занят в это время мозг мужчины, он весьма удивился бы. Об этом мы сообщим в конце правдивого нашего повествования, а пока заметим, что плач весьма раздражал мужчину.

Он сошел по лестнице вниз, усмотрел в сумерках сидящую перед окном хозяйку, закурил и оглушительно крякнул.

– Кто тут? – встрепенулась Марья Лукьяновна, прижимая к носу платок.

– Я. Искандер-Амурский!

– Вы уж меня извините, голова разболелась, растрепалась.

– Обреветесь! – грозно сказал Искандеров, приближаясь аршинными шагами к окну.

Женщина вздрогнула и, чувствуя, что ее жалеют, разразилась рыданиями.

– Чего плачете? – тоном волостного писаря спросил Искандеров.

– Чего?! – Она махнула рукой. – Да... в петлю от такой жизни... загубитель мой... злодей, двадцатник несчастный... дети... обувь, одеть... пьяница... трое суток!..

Она жаловалась долго и основательно. Хибаж затрепетал бы, услышав ее грозную речь. Искандеров, воздевая бороду траурными пальцами вверх, задумчиво посасывал ее, сочувствуя той и другой стороне.

– Угум! – сказал он. – Положение не из красивых. Ну, я пойду. Одначе все поправлю.

Женщина безнадежно фыркнула.

– Это как же?

– А само собой.

– Ну вот еще!

– Совесть-то у него есть, я думаю.

– Ни на вот эстолько.

– Интуиция – враг рекламы, – важно сказал Искандеров, – убедительно рафинирует мой мозг в смысле благополучия.

– Дай-то бог!

– Спокойной вам ночи и приятного сна, – заключил Искандеров, отправляясь наверх.

Через полчаса он услышал сначала бурный звонок и затем, после короткой паузы, – звонок тихий, виноватый. Хибаж долго стоял в передней, придерживаясь за вешалку и пытаясь острить, даже петь, но гневное заплаканное лицо жены, сразу сбило его искусственно легкомысленное настроение.

Быстрым, тяжелым шепотом, чтобы не разбудить детей, Марья Лукьяновна «отвела душу» с помощью таких уязвляющих, изничтожающих выражений, что чиновник упал духом и залепетал нечто бессмысленное. Особенно мучили его ссылки на керосин, ситный, белье, мясо и тому подобные вещи, приобретающие в бедных семействах значение талисманов.

Нападение кончилось. Разбитый упреками, хмелем и раскаянием, Хибаж лег наконец в постель, поставленную ему в крошечной гостиной в углу у окна. Жена не захотела, чтобы спальня «воняла» денатуратом, по ее выражению. Хибаж лежал, курил и тяжело вздыхал. Обостренный пьянством слух его ловил каждый шорох, малейшее потрескивание обоев, и звуки эти, в тьме, в связи с хаосом нелепых обрывков трехсуточной кутерьмы, выплывавших

в воспоминании, казались нестерпимо жуткими. Закрыв глаза, он мгновенно увидел бурых лошадей с мальчиками, повисшими на косматых гривах, голых женщин, медведей, штыковой бой, страшные, гримасничающие рожи, и все это так ясно, как муху на пальце. Не стерпев, Хибаж закурил новую папиросу, лежа с открытыми глазами. Болели почки, спина, ломило кости рук, в висках стучал пульс и мучительное ощущение отравленности заставляло тоскливо ворочаться с боку на бок.

Вдруг он услышал шорох – шорох длительный и сухой, как если бы кто-то шел по газетным листам. Сердце его застучало, подобно швейной машине. Он уронил спички, но побоялся нагнуться за ними.

VI. Таинственные явления

Все окна в доме были закрыты. Закрыты были также обе двери гостиной. Раздался мелкий, быстрый стук, закончившийся громким резким ударом в не уловимое испуганным слухом место одной из стен. Только сознательное существо могло стучать так... Хибаж замер. Шорох и стук не возобновились, но, весь еще под впечатлением странных и страшных звуков, чиновник, мгновенно взвинтив свое без того расстроенное воображение разбойниками, мертвецами и привидениями, сел на кровати, трясаясь в ознобе. Мурашки забегали у него в спине, когда тот же стук, но глуше и удаленнее раздался три раза по три:

«Кок-кок-кок!» – «Кок-кок-кок!» – «Кок-кок-кок!» – и, смолкнув, уступил место тихому мелодическому позваниванию.

Удерживаясь от крика, Хибаж чиркнул спичкой по коробке, плясавшей вместе с рукой. Огонь осветил знакомую обстановку, в которой, в общем, не было ничего страшного, но каждый отдельный предмет выглядел настороженно и грозно. Нельзя было определить, откуда раздается это глухое, жалобное «глон-глон!» – то перебиваясь, в стонущем, унылом слиянии, то отдельно, с мучительно долгими и потому еще более страшными паузами. Все смолкло, спичка, четвертая уже по счету, сгорела в пальцах, и Хибаж снова очутился впотьмах. В это время под окном раздались твердые, редкие, густые шаги, такие тяжелые, как будто при каждом опускании нога идущего пробивала землю: «Топ! Топ! Топ!» Собрав все мужество, Хибаж распахнул окно. Ничто не двигалось в темноте; дул умеренный ветер, шелестела черемуха, но очень близко по-прежнему раздавалось страшное «топ-топ!», и Хибаж вскрикнул. Ничего не понимая, даже не пытаясь понять, он притворил окно и бросился в спальню. Здесь слышалось ровное дыхание женщины детей. Хибаж осветил кровать, растолкал жену.

– Маша, – воскликнул он, стараясь не смотреть в ее заплаканные злые глаза, – ради господ бога, я не усну! У нас в доме неблагополучно. – Она встревожилась, села. – Кто-то ходит под окном, – задыхаясь, шептал Хибаж, – где-то звонят, шуршит везде, стуки раздаются... честное слово. Ты не слыхала?

– Спала я как убитая... повозись с тобой! – Марья Лукьяновна, надев туфли и накинув на голые плечи платок, зажгла свечу. – Ну, пойдем смотреть. Если только ты не с пьяных глаз это... канительщик... на мою голову...

Они обошли комнаты, кухню, вышли за дверь и, наконец, ободренные тишиной, обошли дом, но таинственные звуки больше не раздавались. Несколько раз, удивленный и даже слегка раздраженный этим, потому что его страх оказался бездоказательным, Хибаж шептал, принимая шорох деревьев за начало таинственных явлений:

– Вот, вот! Слышишь? – Но в ответ получал «дурака» и успокаивался.

Наконец они вернулись в гостиную.

– Вот что, – сурово заговорила Марья Лукьяновна, – допился ты до чертиков. Ложись и спи.

Хибаж, вздохнув, лег. Но упросил жену оставить ему свечу.

– Свечи полтинник фунт, – сказала женщина и ушла.

Хибаж лежал, безостановочно куря, и думал о таинственных звуках. «Стало быть, галлюцинация, – грустно заключил он, – допился, стало быть». Наконец он, почти успокоенный тишиной, начал дремать. Свеча догорела. Остаток фитиля, свернувшись набок, лег в растопленный стеарин, зашипел и погас.

Хибаж дремал. Вдруг он вскочил с выпученными глазами и упавшим от страха сердцем. Совершенно отчетливо в тишине раздался полувздых, полупшепот, и шепот этот сказал мрачно: «Погибнешь! Погибнешь!» Готовый заплакать, чиновник, не смея ни закричать, ни пойти

снова к жене, повалился ничком на кровать, с ужасом ожидая повторения страшных слов. Но больше ничего не было.

– Неужели от духов? Знамение!?! – трясся Хибаж, крестясь и ежась под одеялом. – Господи боже мой! А вдруг это дедушка?.. Капли в рот спиртного не брал... Или мамаша!.. Восемнадцать лет было ведь мне, а из пивной за уши таскала... Охо-хо-о!.. Значит, пропал я... «Погибнешь, говорит, ты!» Нет, надо бросить, к дьяволу!.. Сорок мне, рано еще помирать, ведь... мальчики учиться хотят... Людей сделаю!.. Брошу, – повторил он с настоящим облегчением, чувствуя, что принял веское, твердое решение. Но ему показалось, что об этом нужно довести до сведения таинственных сил, дабы укротить и смягчить их. Весь мир представился ему теперь наполненным бестелесными, всезнающими, мрачными и безжалостными существами, от которых не скроешься? – Я не буду, – шепотом заявил из-под одеяла Хибаж, – духи!.. Дедушка, Петр Семенович... а может, Наполеон... обещаюсь и клянусь спасением грешной души Господи, прости и помилуй!

Он казался себе существом отвратительно скотским и грязным и, не замечая слез, плакал. Прощел час. Утомленный, разбитый и потрясенный, Хибаж наконец уснул.

Утром, за самоваром, Хибаж сидел как в воду опущенный. Прежде, чем проснулись жена и дети, он походил по двору, тщательно осматривая дом, но ничего не заметил. Внутри комнат тоже не оказалось ничего подозрительного.

– Я жильца пустила, – сказала Марья Лукьяновна.

– Хорошо, – покорно ответил Хибаж.

– Вот и хорошо, хоть с голоду не помрем. Пятнадцать рублей, на черный хлеб хватит.

– Манечка, я больше не буду, – вздохнул Хибаж.

– Бесстыжий ты лжец, вот что.

«Положим, словам она не поверит, – думал Хибаж, – десять лет обещаюсь. Однако что за птица этот жилец?»

Обратиться к жене с вопросом он боялся, ожидая раздражительных реплик, и, торопливо покончив второй стакан чаю, встал. В садике сидел Искандеров. Хибаж сообразил, что перед ним его жилец. Искандеров познакомился басом. Хибаж – сдавленным тенорком. Клетчатые брюки и длинные волосы жильца внушили ему и подозрение и почтительность. Несло от волосатого, мрачного Искандерова чем-то ученым.

– Где служите? – спросил Хибаж.

– Нигде. Пока отдыхаю.

– Умственные занятия предпочитаете?

– Отчасти. Я – свободный художник.

– Это как же?

– Вывески пишу. Как спали сегодня?

– Почти не спал, – неохотно ответил Хибаж и ушел.

VII. Раскрытие тайн

Месяц прошел как всегда. Хибаж, получив от начальства очередной нагоняй за прогул, аккуратно ходил на службу, по вечерам читал газету или копался в огороде, а Марья Лукьяновна терпеливо считала копейки, выгадывая на пирог к празднику, и ругалась с лавочником, который, невзирая на штрафы, всегда нарушал таксу. Иногда вечером спускался вниз к хозяевам Искандеров. Он получил несколько заказов на вывески и заменил клетчатые брюки диагоналевыми. В жильце Хибаж открыл необычайную любовь к страшному и таинственному. Все разговоры Искандерова вертелись около привидений, мертвецов, ужасных историй с трупами и вампирами, покинутых домов и тому подобное.

– Да, что-то будет за гробом?! – вздохнул однажды Хибаж, припоминая памятную ночь страхов, когда голос сказал: «Погибнешь!»

– Оккультическое течение установило, – сказал Искандеров, – что после смерти у развратной души все страсти останутся ненасытными и вечно алчущими, как-то: пьяница будет томиться о вине, блудник – о женщинах, чревоугодник – о пищевом снабжении... И в этом есть ад!

– А если кто перед обедом выпивал по одной рюмке? – кротко осведомился Хибаж.

– М-м... гм... надо полагать, что... в соответствии. Так сказал ученый профессор Заратустра.

– Персидский волшебник, надо быть, – заметил Хибаж.

– Ах, как я рада, Гриша, – сказала Марья Лукьяновна, – запоешь ты там, заскулишь, так тебе и надо.

– Я же бросил, – мрачно ответил Хибаж, – да еще все это гадательно.

Восемнадцатого июня, то есть за два дня до получения жалованья, Хибаж стал мысленно раскладывать его по долгам и нужным покупкам. Оставались гроши.

– Черт знает, что! – сказал он. – Прошлое двадцатое было куда веселее!

Он вспомнил, как пил, как безудержно и напряженно хмелел, погружаясь в веселый, дикий туман восторженной бесшабашности, и выпивка показалась опять раем. Хибаж попробовал отогнать соблазн, вспоминая предостерегающий таинственный голос, и бедность, и домашние сцены, и утреннюю прогулку у реки, когда свежесть трезвых минут была пленительной, как купанье.

Однако проклятый червяк продолжал свое сосущее дело, и Хибаж если еще не решил напиться, то, во всяком случае, думал об этом упорно и грустно. С этой ночи, когда голос сказал: «Погибнешь!» – Хибаж в наказание до двадцать второго числа, когда должно было обнаружиться, исправился он или нет, спал от жены отдельно, на диване в гостиной. Неоднократно он спрашивал пощады, но Марья Лукьяновна не сдавалась.

Девятнадцатого, потрясенный внутренней борьбой, происходившей в нем. Хибаж занял у сослуживца три рубля и обошел с ними все аптеки по Невскому, покупая в каждой на 20–30 копеек калганных, померанцевых и коричневых капель, то есть спирта, настоящего на корице. Таким образом набрал он десять маленьких пузырьков, намереваясь по принятии их внутрь себя прийти к какому-нибудь решению.

В одиннадцать вечера Хибаж притворился спящим, потушил лампу и, полежав минут десять, подкрался к дверям спальни, прислушиваясь. Мирное дыхание жены говорило о безопасности. Хибаж пробрался в кухню, вылил содержимое пузырьков в квасную полубутылку, развел слегка напиток водой, очистил луковицу, отрезал кусочек, хлеба, посолил, съел перед рюмкой, налил, подумал: «Как в ресторане!» – вздохнул и выпил. После четвертой рюмки,

повеселев и разговаривая сам с собою начистоту, грубо и прямолинейно, Хибаж думал: «А ну, сообрази же, Григорий, напиться завтра тебе или нет?!»

– Напьюсь, ей-богу, напьюсь, – сказал он, повеселев даже от такого решения. Таинственные страхи казались ему теперь просто похмельным бредом. Уничтожив всякие следы развратного поведения, Хибаж ушел в гостиную и начал дремать.

«Тук-так... тук-тук... тук-тук...» – раздавалось неизвестно где. Хибаж открыл глаза, сел и замер. Мгновенно хмель покинул его, оставив одно, нестерпимо жуткое, ожидание сверхъестественного. Он боялся встать, зажечь огонь, даже пошевелиться... Вверху, где-то над чердаком, звякнуло загремело и стихло. И вот все ужасы, казалось соединились вокруг несчастного чиновника: звон наверху усилился, прикрытое окно внезапно распахнулось, и на леденящей кровь черноте его показалось огромное, огненное лицо, с светящимися, почти пылающими волосами, лицо это, более похожее на раскаленный череп, чем на что-либо благопристойное, раскрыло страшный рот и глухо сказала:

– Погибнешь! Погибнешь! Умрешь!

Хибаж вскрикнул и повалился без чувств. Его крик разбудил Марью Лукьяновну.

Встревожилась она, зажгла свечку, вышла и увидела, что Хибаж, без кровинки в лице, лежит на полу.

– Господи! Или помер? Гриша, очнись.

Хибаж слабо хрипел. Женщина всполошилась. Ни вода, ни тряска не помогли. Не зная, что делать, она бросилась за помощью к Искандерову.

Поднимаясь по лесенке, она обратила внимание на странный лязг, доносившийся с чердака, и вспомнила, как месяц назад Хибаж испугался чего-то. Марья Лукьяновна была храбрая женщина. Свернув на чердак, она стала осматривать его со свечой и увидела жалобно мяукающую, тощую кошку, тщетно пытающуюся избавиться от привязанной к хвосту пустой жестянки. При каждом прыжке животного жестянка истерично гремела.

– Это все мальчики, озорники, – рассердилась она. – Выдеру.

Освободив и выбросив на двор из чердачного окна кошку, Марья Лукьяновна постучала к Искандерову. Он не спал и сразу открыл.

– Что такое?

– Ох, не знаю, помогите мужа очнуть! Грохнулся, как померший, не дышит и не встает, доктора позвать, что ли?

– Перехватил я – мрачно сказал Искандеров. – Видите ли-с, это я вашего супруга пугаю. Не сердитесь?

– Что это вы говорите? Да нашатырного спирту ему...

– Успокойтесь. Они в обмороке, и здоровью ихнему это не повредит, а даже напротив. Должен и вам сказать, что мой папаша скончался от чрезмерного алкоголизма, а также братец, и шурин попал на одиннадцатую версту, и все через это, и я сам от той же болезни с помощью гипнотизма вылечился. Так что, увидев вас однажды расстроенною и в слезах и в недостатках хозяйства, смекнул я вашего супруга излечить помощью душеспасительных страхов. На прошлый раз я провертел дыру в потолке и шуршал бумагой и угрожал голосом, а ныне, изволите видеть, вымазавшись кольдкремом с примесью английского фосфора, сделал себе пылающее лицо и в окне появился. Я сказал: «Погибнешь!», то есть ежели продолжать пьянствовать. А они упали от страха без чувств. Я этим штукам от одного фокусника научился. Простите, если не угодил!

– А вы зачем в моем доме дыру вертите?

– Так для вашей же пользы.

– Ну-н... поможет ли только?

– Да, надо полагать, что с перепугу такого более не рискнут выпивать. Только меня не выдавайте.

- Вот кошку еще мучаете, тоже вы?
- Я-с; уподобление звону цепей, которые на привидениях.
- Господи! – заплакала Марья Лукьяновна. – Неужели зарок даст?
- А вот увидите.

Они говорили еще на эту тему, и она отправилась приводить в чувство супруга. Хибаж наконец очнулся. Он хныкал, трясся, жался к жене и бормотал о страшных призраках, на что Марья Лукьяновна притворно ахала, вздыхала и твердила, что это – знамение.

- Истинно знамение, – прошептал Хибаж и перекрестился.

Издательство «Скальпированный футурист» успело за месяц распродать пятнадцать тысяч книжек «Мечты в сапоге», и ему снова потребовалась бумага, и Мустаняйнен снова прибыл на «Юколе» в Петроград. В виде благодарности за прошлый кутеж привез он Хибажу бутылку шведского коньяку. Хибаж посмотрел на бутылку и отвернулся.

- Не пью, – хмуро сказал он, страшно огорчив этим веселого шкипера.

- А... посеми се? Нисево, тавай рюмоску!

– Нет, нет, – и Хибаж печально, но твердо помешал ложечкой в огромном именинном стакане, где налицо было не что иное, как чай, и не с чем иным, как с молоком. Шкипер истребил коньяк сам. Возвращался он на пароход от какой-то «тевоски», сильно покачиваясь, курил и мурлыкал:

«А во поле пыль стоял!..

А тут мой песенка и сконсялся».